

ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ



БАЛАГУР

ПОВЕСТЬ

*С неба упало три яблока:
Одно — тому, кто сказки сказывал,
Другое — тому, кто сказки написал,
А третье — тому, кто прочитал.*

Тимофей Круглов женился рано.

Под стать себе облюбывал он в Рожнове скотницу Наташку — крепкую, разбитную, веселую. Молодожёны жили в новом брусковом доме, ходили на праздники под руку, — как сказали бы рожновские жители, “под крендель”.

Высокий, сухопарый, суетный Круглов от темна до темна стерег стадо, стрелял, как из ружья, конопляным кнутом с повивкой конского волоса.

За лето скотина выбивает выгоны. Осенью в поисках отавы Тимофей уходит далеко от села. Все ложбины, лесные куртинки пролезет, а овец на-кормит, напоит свежей водой.

Для Наташки осенняя пора — сущее наказание: чтобы отнести обед Тимофею, она долго ищет овечьё стадо, бродит по оврагам и мелколесью в любую погоду.

— Тимоша! — кричит она, сложив ладони патрубком. — А-у!..

— Ого-го-о!.. — откликается Тимофей сильным простуженным голосом.

Чапыжник царапает руки, цепляется за одежду, а Наташка, аукая на ходу, спешит на голос.

КИЛЯКОВ Василий Васильевич родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал мастером на заводе в г. Электросталь, служил в армии. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Печатался в журналах “Новый мир”, “Октябрь”, “Юность”, “Молодая гвардия” и других изданиях. Лауреат литературной премии имени Б. Полевого и Всероссийской литературной премии “Традиция”. Член Союза писателей России. Живёт в г. Электросталь Московской области.

Круглов радуется приходу жены, светлеет лицом, веселее покрикивает на овец, собирает их на поляну. Преклонив колени, с трудом разводит костер, чтобы согреться, просушить портянки, пообедать в тепле. А рядом усаживается Наташка, ногами вперед. Вынимает из сумки хлеб, чугуничик наваристых щей и крупитчатую кашу, — все это она раскладывает на клеенке, не торопясь, основательно, как дома.

— Пожуй со мною, — просит ее Тимофей, не спуская добрых ласковых глаз. — Ух, и хороши щи! Прямо объеденье! Со свежей капустой!

— Кушай, ешь вдосталь, а мало будет — еще принесу...

Наташка подкладывает Тимофею хлеб, думает свое...

Сырой осенний ветер дует порывисто, треплет развешенные на рогатине портянки. Овцы, понурив головы, сбились в кучу. Небо грозит проливным дождем.

Наталья обирает листья, падающие с куста на клеенку; окидывает взглядом из-под руки бесприютные дали и прерывисто вздыхает.

— Бросил бы ты пастушить, Тимоша, — говорит она тихим, вкрадчивым голосом, — бросил бы. Ишь, как у тебя в коленках скрипит от простуды. И от голоса отстал, на овец орамши. Перебирайся на ферму. Истопником. И тепло, и крыша над головой, и...

Тимофей делает вид, будто не слышит жены. Сороки, качаясь на ветвях, трещат отсыревшими голосами. Круглов черпает из чугуна щи деревянной ложкой. С каким-то особенным наслаждением жует кашу.

Наевшись, он увязывает в белую тряпицу посуду, кости и крошки вываливает собакам.

— Никак это не выйдет, чтобы, к примеру, бросить, — нехотя говорит он. — Сердчишко прикипело к полям. Тут мне и воля, и доля. Пахом — я с ним еще подпаском начинал — так говаривал: на свободе-то хоть сам себе голову откуси — никто тебе слова не скажет.

— Пахом? Тот, что сказкам да байкам тебя выучил?

— Он. Эх, покойник и мастак был на сказки. Бывало, заведет, заведет — про все на свете забудешь.

— Да и ты горазд, — улыбается Наташка. — Навострился у него, навывк.

И, затянув потуже платок, Наташа просит сказочку. Круглов докуривает козью ножку. Затягивается глубоко, до дна легких. Начинает издали: “Жили-были дед да бабка, ели кашу с молоком”.

— Раз сидят они на лавочке, рядышком, как голубки, как вот мы с тобой — такие-то. Только старые оба, лет им под сто. Старуха вдруг возьми и запой...

Тут Тимофей меняет голос и поёт тоносенько, как могла бы петь только старуха:

— *Была б я лёгкой пташечкой,
Умела б я летать...*

— А старик был дошлый, сумрачный. Посмотрел на свою супружницу и тоже запел:

*Беззубая ты, старая...
Чем стала бы клевать?*

Рассказывал Тимофей всегда с самым серьёзным лицом, с тоном лёгкого недоумения в голосе. Ждал, когда Наташка отсмеётся. И лицо, и движения его — всё было вкус и мера. И, может быть, поэтому Наташка пуще прежнего заливалась колокольчиком, запрокидывала голову.

Присказки, байки, пословицы и канавушки как-то скрашивали неуютность серого дня с низкими, тяжёлыми облаками, с облетевшими, продуктами насквозь кустами и свалывшейся по низинам блеклой травой-отавой. Наговорившись вдосталь, с веселым сердцем и чувством облегчения Тимофей вскидывал кнут, сухо стрелял им, выгоняя овец на свежую поляну.

Наташка спешила на ферму, додумывая на ходу рассказанное мужем...

Так жили они в мире и согласии лет двадцать—двадцать пять. Души друг в друге не чаяли. Но вот как-то пришло из города письмо от дочери: что-то не ладилось у неё там. Прочитали и решили: надо ехать. И уехала Наталья в город. Тимофей остался один как перст — смотреть за скотиной, беречь дом. Да вот только задержалась что-то в городе Наташка. Все писала Тимофею длинные письма, обещала вот-вот вернуться, а не ехала. Затужил Круглов, загоревал по своей “сударушке”. Раз даже собрался вслед за женой. Сложил пожитки, крест-накрест заколотил окна... Да что-то раздумал. А может быть, новое письмо в прах разбило его намерение. А время шло...

Вот в такую-то плохую его пору я и застал пастуха, приехав однажды в Рожново. Было это ранней весной. Повстречались мы на задворках. Шёл он тихой походкой усталого, пожившего человека. Одет был домовито, чисто: на ногах крепкие яловые сапоги с ушками, на плечах — дублённый полушубок мехом внутрь; сам простоволос. Но как-то по-особенному смотрели теперь его глаза. Не грустно, нет, а как-то просто, мирно. И горькие морщины углубились у рта.

— На почту ходил? — спросил я.

— А то куда же! — с грустной готовностью ответил он и посмотрел пристально. — Ты чей же, не угадаю?

Я назвался.

— Без жены-то дом — сирота, — продолжал Тимофей.

Я посоветовал ему вызвать сюда всю семью.

— Куда там, — слабо махнул он рукой, — и слушать не хотят. Сказано: жена — солнце, а дети... Эхма, дети — это... звезды. Так и живу, как обсевок какой. А я ведь поболтать люблю, рассказать что ни то.

— Сказки, я слышал, рассказываешь?

— Сказки-то? Как же, рассказываю мужикам нашим. Они ко мне чуть не каждый вечер валом валят. Приходи и ты, авось не соскучишься.

Освободившись от дневных забот, я дождался сумерек. Совсем стемнело, когда я шел к Тимофею. По улице брехали собаки, а у клуба, на ярко освещенной из окон проталинке с визгом и гиканьем тусовалась молодежь. Играл баян, звенела, точно бубен, гитара.

Я свернул вправо, к дому Круглова. Лишь отворил дверь — в лицо пахнуло тепло березовых дров, тем приятным, с детства знакомым запахом каленых поленьев. Хозяин сидел на пятках перед грубкой — невысокой маленькой печью для обогрева горницы, — сидел и помешивал кочережкой в топке. Низко светила лампочка. От грубки вдоль стены висели мокрые рубахи, носки, порты. Кочерёжка тихо позванивала об угли, дрова с шипением рассыпались.

Не успели мы перекинуться двумя-тремя словами, как вдруг протяжно взвизгнула и хлопнула дверь, и с крепким топотом добротной обуви в избу ввалились рожновские мужики, из тех, что любят послушать байки.

— Вечор добрый! Как живём-можем? — спрашивали они вразнобой. Сами вольно и широко занимали лавки. И по всему: по тому, как садились они, не спрашиваясь, как закуривали, как говорили — тотчас было видно, что они тут завсегдагаи.

— Живём! — сразу повеселев, отвечал Круглов. — Жи-вём! Хлеб с салом жуём. Приход ваш к счастью...

— Дома сидели-сидели — скука смертная, тоска зеленая. Приперлись вот, чай, не последние...

— А я у бабы своей просил на поллитровку, — говорил широколицый ноздрястый мужик. — Просил-просил — не дала. Иди, отвечает, к Тимохе сказки послушай, авось поумнеешь.

Общий смех заглушил его последние слова.

— Милое дело! — блеснул глазами Круглов. — А тебе бы, Никодимка, все вино да домино. Ну, так. Грубка нагрелась, сейчас и тепло пойдет.

— Давай-давай, начинай, — торопил Башлыков, — за тем и шли.

Это был высокий плотный мужик, широкий и важный, в клетчатой канареечного цвета рубахе. Он сразу уселся прочно, точно на века, подпирая плечами стену. Я исподтишка обвел глазами собравшихся и тотчас понял: он тут за старшего.

— Вали, Тимоха!

— Согрелись!

— Начинай.

— На море-океане, на острове Буяне лежит бык печёный. В одном боку нож точёный, в другом — чеснок толчёный. Знай помалкивай да кушай, да мои побаски слушай...

Голос Тимофея, глуховатый, чуть с сипотцой, все понижался, переходя почти на шепот. И надо было видеть, слышать, а главное — чувствовать Тимофея в ту минуту. Он как бы оживал, весь преображался, исподволь додумывая что-то, шурился на слушателей, словно по лицам и фигурам схватывал их настроение и согласно с этим настроением отыскивал в своей памяти нужное словцо.

— В некотором царстве, в ненашем государстве, жил-был лесник, звали его Иваном. Раз пошел лесник в обход поглядеть, нет ли где порубки, порчи или озорства какого. Шёл он, шёл, а уж смеркаться стало. Крупный дождик начал щелкать Ивана в лицо. Ветер поднялся сильный-пресильный, лес гудит, аки в бочке, елки ходуном ходят, скрипят, веткой об ветку стучат... Жутко стало Ивану, страшно, а до дому еще далеко-далече. Тут и темень нагрянула. Ну, идет лесник, задумался, об жене соскучился. А жена у него красавица, высокая да черноглазая, словом, пух в атласе. Тут показалось Ивану, будто бы он заблудился. “Что же это я, такой-сякой, собак с собой не взял, авось не скучно бы было!” А молонья так и жгёт, так и жгёт, озаряет дорогу, как днем. Гром как вдарит, и раскатилось окрест по всему лесу. Еще больше струхнул Иван, чует: сердце дрожит, как овечий хвост...

Мужики нетерпеливо завозились на скамейке. Расстегивали телогрейки, стаскивали куртки, шапки. Круглов нарочно делает паузу, “подпускает”. Искоса взглядывает на мужиков. Взглянет и молчит.

— Чтой-то я не пойму, Тимоха, сказку ты сказываешь ай правду? — проговорил Никодим, раздеваясь до рубахи и закуривая верченку. — Похоже, сказку?

— Да ты слушай, не перебивай. — Башлыков строго глянул на Никодима. — Вечно ты поперек дороги, ей-Богу.

— Идёт Иван опушкой, — снижая голос, продолжал Круглов, — идёт полевой, и видит метрах в пяти высокую сосну. Та сосна без вершинки. И ни веточки тебе, ни сучочка — все как есть грозой спалило. Лесник смотрит, до-олго смотрел — что такое? Тут не было дерева без вершинки. Глядь, откуда ни возмись, на самом верху показалась большу-ущая змея, кажись, в человеческий рост. Обжала сосну. Сидит помалкивает. Иван так и обмер. Однако снимает с плеча ружье, вскидывает, кричит: “Ах ты злодейка, а ну, слазь оттэда!”

Гаркнул он так-то, и сам не рад. Трясется, метится змее в голову, курок пальчиком потрогивает. “Счас, — думает, — я тебя душетом смажу, слетишь, как милая”. И вдруг слышит: “Ш-ш-ш”, — змея зашипела, как гусак. Да... Зашипела и говорит бабьим языком тонюсеньким и острым, как бритва: “Не стреляй мене, Иван Демьяныч, я тебе пригожусь”. Собрался с духом Иван, отвечает: “А что ты мне дашь?” Сам все метится в голову, молитвы шепчет: “Запирающи врата спасительной рукой...” Слазь оттэда! Знай наших рожновских, да не путай с осиновскими!.. “Печать Христа, печать Божьей матери...” Слазь! Храбрая, значит?!” Змея видит, что дело серьёзное: укокошит лесник с испугу. Ответит ласково-преласково, как шпекотливая бабёнка: “Коли хочешь злата-серебра, видимо-невидимо дам. Сколько доташпишь”. Иван Демьяныч наострил уши топориком и начал умишком раскидывать: на кой ляд ему это серебро? Куда его сплавить? Милиция узнает, пронюхает это дело и отправит в Колым-край. В сельмаге Нюрка-продавщица только медные деньги берёт, а их не утащишь много. Задача!

Акулина, жена его, жадная-прежадная была. Ей сколько с полочки ни отдай — всё в чулок прячет, а бабий чулок, известно, сроду не наполнишь, потому как вытягивается. Иван умишком был туговат, стоял, скреб в голове, думал...

“А хочешь все знать? — это снова ему, дураку, змея-то шипит. — Все будешь знать, что только ни пожелаешь”. Иван опять зачесался — плохо до него доходило, через ноги. Ну, однако, кричит: “Я согласный, чтоб все знать!” — “Да ты опусти, дурень, ружье-то, положи на плечо, — усталым голосом толковала змея. — Убери ружье и ступай себе с Богом. Да смотри в оба! О нашем уговоре не разбери кому-либо. Ни гу-гу! Помни же! Коли тайну раскроешь, тут и помрешь в одночасье. Особенно Акульки своей остерегайся, даже она любопытная...” — “Ладно-ладно, знаю я свою Акульку. Вот учит жить”.

Тут молонья как жиганет — и ослепила лесника. Поднялся ветер, прямо буря! Иван проморгался, протер глаза, глядь-поглядь, а змеи как и не бывало, след простыл. “Ну, уползла и уползла, ляд с тобою, — думает Иван. — Не больно и нужна была. Как-нибудь дотащусь до дому. Вон и тропа приметная”. Пошел он ходко, дай Бог ноги, а все оглядывается: нет ли змеи за ним. “А дай-ка я загадаю, — проговорил он вслух, — что такое мне Акулина на ужин сварганила?” И только он это молвил, рванул ветер, вздыбил ветки на деревьях. Молодая осинка склонилась к Ивану и нащёптывает: “Акулина заварила тебе похлёбку из требухи, да замешкалась и пересолила. А сосед Николай расселся на лавке твоей под иконами, как фон-барон, и хочотет. Акулина тоже смеется. “Муж мой, — говорит, — неотеса, пень дремучий, дурак косоногий, сожрёт и пересолёную. Не мил он мне, не люб...” Никола, сосед, вьется вокруг нее вьюном, любовные слова толкует, всё целуются да милуются...” “Хватит, — крикнул Иван, — достаточно”. И еще шире зашагал к дому.

Мужики захохотали все враз. Тимофей помолчал строго, затянулся дымом.

— А дальше-то? — добирался до клубнички Никодим, мужик ревнивый и злой на свою прекрасную половину. — Я б ее, стерву, поучил по-русски за такие амуры. Я б ей быстро подол на голове завязал!

Тимофей, пуская струями дым, пряча улыбку, продолжал:

— Пришел Иванушка домой, стучит... Николка услышал, и — шасть в окно. Акулина отворила дверь, пустила Ивана, помалкивает. “Ты что, такая-сякая намазанная, похлебку-то пересолила? Что я буду есть? А Николай где? Что тут делал? По какому такому праву он к тебе шляется? Отвечай, кривозубая!” А жена: “Да ты попробуй похлебку-то. Откуда известно, что пересолёная?! И какой Николай? Никакого Николая слыхом не слыхивала, видом не видывала!” Сама руки в боки уперла, бровями двигает. “Брешешь, — наступает на нее Иван, — я твои шашни знаю! И куда сало прячешь — знаю, и сколько денег заначиваешь — про все мне теперь доподлинно известно!” Тут Иван сунул руку под матрац, достал капроновый чулок с ассигнациями и потряс им над головой.

Акулина, баба грудастая, с горкой нечёсанных на макушке волос, трясет подолом, нахально играет скулами: не знаю, мол, про что толкуешь, а деньги на черный день берегу... Ну, однако, поорали, полаялись, угомонились. Акулина ночь не спит, все думает: “Откуда муж про все дела знает?” И захотелось ей пуще всего на свете узнать тот секрет. Стала она приставать к леснику, выведывать да вынюхивать. Правдами и неправдами, лестью и лаской, так и эдак, — лесник знай себе помалкивает, рот на крючок. И вот раз Акулина нарядилась, как на праздник, завязала в узел все свои платья-наряды и говорит так грустно-прегрустно: “Ухожу от тебя, милёнок, куда глазоньки глядят. Люблю тебя пуще жизни, а придется покинуть. Не веришь ты мне, не говоришь тайны, и сердце твое закрыто для меня навек”. Да... Сказала так-то и стоит, ждет. “Да пойми ты, дура баба, не могу, зарок дал!” Лесник был смиренный и любил свою Акулину несусветно. “Нет, мужек-нек, прощай!”

Затужил Иван: что как и впрямь покинет? Плохо ли, хорошо ли, а жили до сих пор. “Нет, — думает, — отпущать из дому бабу не след. Может, еще и смилуется надо мной змея-то...”

Пошел он в сельмаг, попросил у Нюрки четушку водки, хлебнул корец, а зажевать — ничутьючки не зажевал, только хлебушка понюхал. Дома и го-

ворит жене: “Знай, Акуля, помру я, коли секрет раскрою”. А Акулина страсть какая любопытная была, дерзкая да напористая. Отвечает — уши режет: “Говори, косоногий, в последний раз прошу. Узелок готов; юбки, платья и платки — все тут, все забрала. Пойду искать счастья по белу свету, авось полюбит кто-нибудь и меня, горемычную!” И заплакала, запричитала...

“Эх, головунка моя горькая, судьбина лютая. Делать нечего, надо рассказывать, — прошептал Иван. — Дай мне, жена, хоть в банешку сходить, исподнее сменить да в гроб лечь”. А та и рада-радешенька. Приготовила Ивану белые тапочки, исподнее из сундука. Приоделся Иван, приготовился к смерти. Лег в сготовленный загодя гроб, руки косым крестом сложил.

— От так от, — Тимофей показал, как лежал в гробу Иван, — и поглядывает на Акулину, глазами хлоп-хлоп.

Акулька слезы притворные вытерла, села в возглавии, ушки на макушке, харю скосоротила, губки крашенные сердечком сложила...

— От стерва! Надо же! — сжал кулаки Семён Балков, мужик молодой, красивый какой-то цыганской красотой. — Все приготовила?

— Ну да, все как есть. Села и ждет. Все чин-чином: и штаны черные, и курь Иван вот так вот сложил...

Тимофей и тут бил не в бровь, а в глаз. Он показал, как у лесника были сложены руки; косяя нога в белом тапочке выкинута из гроба, а глаза скорбные-скорбные, — все он примерил, как это было.

— Да... Лежит Иван в гробовой колоде и думает... А помирать-то кому же охота. Как ни горька житуха, а все лучше, чем на том свете. К тому же помирать из-за пустяков, из-за бабьего любопытства — последнее дело. “Ну, слушай, — говорит он Акулине, — двум смертям не бывать, а одной не миновать”. А дверь вдруг возьми да распахнись от ветра. И ввалились в избу куры. Петух квохчет, не пускает их от порога. Одна наседка, белая такая с подпалинами, шагнула было дальше, петух — раз! — ее в темя клоннул. Иван поднял голову с подушки, смо-отрит, до-олго смотрел. И говорит своей бабе: “Глянь-ка, садовая голова! Петух, и тот хозяин на птичьем дворе, порядок в курином семействе наводит. А я тут кто? Можешь ты мне ответить? Чего рот-то раззявила?” — и с этими словами выскочил из гроба, хват Акулину в охапку и давай ее вместо себя в колоду тискать. Толкает он в гроб Акульку, а сам шашептывает: “Змея, а змея, все ли я так делаю, все ли ладно?” А она ему шипит в ухо: “Так, Иван Демьяныч, так ее распротак! Жми, дави ее пуще прежнего, лучше любить будет”. Акулина орет дурным голосом: “Ой, Ванюша! Отпусти ты мене за ради Бога! Открой крышку, дай воздуха глотнуть. Сало на чердаке под вениками, деньги в чуланчике — сам знаешь. Возьми сколько хочешь, хоть все. Ой, помру-задохнусь. А Николку и на дух к себе не подпущу. Ой, пусти! Пусти же, тут тесно!”

Мужики засмеялись:

— Молодец Иван, проучил Акульку.

— Молодец, чего там!

— Хват-парень!

Тимофей продолжал невозмутимо:

— Жалко стало Ивану, хоть и заполошная баба Акулина, а сердцем присох к ней. Открыл он крышку; выходи, говорит, выходи, да будь человеком. Акулина полезла к нему на грудь. Целует, милует, прости, мол, муженек, меня неразумную. И стали они жить да поживать и добра наживать. Я разок пришел повидаться, они зачали целоваться, а в другой раз забрел погреться, они начали... Всё...

— Всё? — удивился Никодим. — Ай да ловко! У меня теща такая-то: любопытная — ужас! А язык — это не язык, а нож острый.

Посидели в молчании минуту-другую. Тимофей пошевеливал кочережкой в грубке, собирал в горку жар — рдяные угольки. Чувствовалось, что не всех проняла его сказка.

— А то вот ещё, — сказал он и подсунул дымящуюся кочергу в колосник. — Мне Пахом рассказывал, давно это было... В одной жаркой-прежаркой стране жил-был принц-султан-хан. И был он знатен и богат. Денег — куры не клевали.

— Много, значит, денег-то было? — съязвил Никодим.

— Ну, толкую же: куры не клюют. Ты слушай, не перебивай. Ага... Так вот. Принц этот овдовел рано и жил один, как вот я теперь такой-то. Дочка, правда, с ним была. Они, жены-то, были, конечно, только не настоящие, а так себе, из гарема, мамочки. А что в них толку? С одной день поиграет, с другой ночь... Сорок штук их было! Одна к одной — все красавицы писанные, а все не то. Дело у принца шло к старости, белый день — к вечеру. А старому человеку, известно, девки не к рукам, хуже, чем варежка на ноге. Дочка же была от жены, хоть и некрасивая, а любил ее принц пуще жизни: была она схожа и лицом и сердцем на покойную свою матушку. Принц подыскал ей жениха знатного рода, богатого — словом, голубых кровей. Вот. Покалякали они на своем языке, наметили срок свадьбе, тут дочь возьми и заболей. В горле у нее что-то хрипело на разные голоса, а потом и вовсе перестала говорить, онемела, горемычная.

День ото дня хуже и хуже становилось дочери принца. И ни слова сказать, ни поесть, ни попить — хоть плачь. Принц согнал всех своих докторов на консилиум, а не тут-то было: поглядят, обступят, общупают, с места на место повалиют, а в чем дело — никак в толк не возьмут. Одне твердят — рак, другие — чахотка. Осерчал на них принц, зарал благим матом: “Слуги, всех докторов в тигулёвку, в холодную! Пуцай там подумают!” Докторов повязали по рукам, по ногам, в кутузку повалили. А толку что? Дочка-то болеет, вот-вот помрет...

Раз вечером слышит принц песню — не песню, стих — не стих, а так, орет какой-то архаровец во всю ивановскую: “Травушкой-муравушкой да польню-матушкой, хной и хиной все недуги лечу!” Тянет так-то, а сам из наших краев, русский. И жарича ему — страсть! Разомлел, запотел, взмок сердешный. Услыхал принц, посылает слуг: “А позвать сюда лекаря! Я с ним сам потолкую!” Притащили мужика силой-неволей, толкнули взащей, поставили перед султан-ханом на колени. Тот и спрашивает: “Ты откуда такой молодец мужичок сюда выискался? Что умеешь? Чего орешь?” — “Я, — отвечает знахарь, — из тридевятого государства. Лечу людей колодезной водой, дурной глаз и болезни снимаю. Да вот дюже жарко тут у вас...” — “А можешь ты, сукин сын, мою дочку от гибели спасти? Коли поправится — ожено тебя на ней, и вся моя власть — твоя власть, и гарем в придачу. А не вылечишь — вот секира, вот мой меч, твоя голова — с плеч. У меня не заржавеет!” Знахарь враз похолодел, точно на него ушат воды вылили, стоит перед принцем ни жив ни мертв от страха. Стоит и так кумекает себе: “Зачем же я, дубина стоеросовая, орал так громко, надо бы потише. Как я ее вылечу, чем? Ох ты Боже мой”. Думает, а сам все поглядывает на принцеву охрану, на дверь — как бы деру дать...

Тут Круглов примолк, выждал время, снова закурил и скользнул взглядом по лицам мужиков. Те сидели широко, смолили много; дым к потолку — коромыслом. У Башлыкова даже губа отвалилась, ждет, что с лекарем будет. Никодим всем корпусом откинулся к стене; один локоть на подоконнике, другой — подпирает колено.

— Думал он, думал, — продолжал Тимофей, — прышш-то этот, знахарь-то, и решился: “Или грудь в крестах, или голова в кустах... Эх, помирать, так с шумом, с треском!” Пробубнил: “Богородица, дева, радуйся...”, и спрашивает принца, нахально раздувая ноздри: “А можно мне на вашу дочку глаз положить, обсмотреть то есть?” А принц ему: “Отчего же нельзя! Очень можно. Дочка там, в палатах. А у тебя, знахарь, шея крепкая ли?” — “Прикажите всем удалиться из покоев, а меня в её апартаменты допустить. Счас я её вылечу...”

— Это куда же он рвётся-то? К принцессе? — удивился Вадим Соколов. — Ну, Тимоха, загну-ул!

— Вот чудак-человек, не верит! — тонким голосом воскликнул Круглов и плутовски подмигнул остальным. — Она же с постели не вставала, отошла. Ни встать ей, ни сесть, ни понагнуться — ровно аршин проглотила. Ты гляди, что дальше-то будет, не перебивай, а то осерчаю.

— Ну-ну, вали доказывай. Слушать буду.

— Закрыл знахарь дверь за собою, поглядел на принцессу зверскими глазами, засучил рукава по локоть и полез к её лицу. Она смотрит на него, с испугу-то рот перекосила; глаза запухли — не моргнёт, красные, как у селедки в нашем сельмаге... Хотела вскочить — ноги не шевелятся. Лицо желтое, зеленое, зубы большие — словом, мертвое тело и больше ничего. Знахарь как зарычит на нее: “Из-за тебя пр-ропадаю, стер-рва!” — цап ее за горловик и давай мять-приговаривать. Принцесса-то с испугу совладать с собой не может, рвется, бьется, наконец, того, как завизжит на своем языке: “Помогите! Караул!” И только она вскрикнула, услышала свой голос, зарыдала от радости. Шутка ли: вовсе немая была, под себя ходила, а тут заорала. Слуги сбежались с секирами наголо. Явился султан-хан, все рады-радешеньки. Принцесса руки у знахаря целует, доктором его величает. А какой он доктор, самый что ни на есть плут и обманщик. “Вот какая удача тебе, Иван! — думает знахарь. — Взяла да и вскрикнула. Теперь и голова моя будет цела. Вовсе молчала, а тут залопотала. Вот счастье-то!” — “Эй, слуги! — крикнул принц. — Повелеваю на стол вино-закуски ставить. Угостить на славу добра молодца. Он устал и хочет вина попить. Ты, лекарь, покушай, отдохни малость — на тебе лица нет”. А знахарь, хоть беда и стороной прошла, все еще успокоиться не может, все поджилочки у него говорят от страха. Сел он рядом с принцем за стол, пьет вино, ест шашлык. А еще жарче стало, страсть какой зной навалился. С него пот кап, кап на скатерть. Выбирает знахарь, что покрепче да позабористей. Вина и закуски видимо-невидимо. Он глазами хлоп-хлоп, стаканами чайными дорогое вино дует. Слуги вокруг стола винтом ходят, снуют, тащат то одно, то другое. Пригласили танцовщиц. Девки молодые, босиком, одна к одной, как вишенки, все поют, танцы живота танцуют. Гарем это по-персидски, а по-русски — бардак... Кхе... Кхе...

Круглов притворно закашлялся, повел глазами на самого придирчивого слушателя, Вадима Соколова.

— Так распротак-то! Меня там не было! — неожиданно для всех пробасил вдруг Башмаков.

Все обернулись к нему. Он что, сдурел, что ли? Это же сказка, а проще говоря — выдумка.

— Меня там не было! Вот бы затесаться! И водка была?

— А то как же! — не моргнув, соврал Тимофей, довольный, что пробрало-таки мужиков и “кипишу” не миновать-стать. Засмеялся. — А то как же! И водка, — повторил он, — чистая, как божья слеза. И это еще, вот... шимпанское. Иван им ром запивал.

— И закусь? — спросил Никодим, жадный до еды; без доброй закуски он даже в мастерской не пил.

— И закусь на ять! Шашлык, холодец рыбный со щурьбою — все чинчином!

Тимофей подумал минуточку-другую, помолчал, трогая рукой губы, чтобы не рассмеяться; “Это вам не наш брат. Принц, он принц и есть”.

И мужики закипели кипнем. Стягивали с себя шапки, телогрейки, распахивали воротники рубах. И хотя дома сказали, что идут к Тимофею “погугорить часок”, — перекорам не было конца, добрались до истины. Сенька Кольшкин не мог понять главного; откуда в жаркой стране взялась русская горькая, шампанское и щурьба...

— Профан! Дуралей! — орал Сеньке в ухо Башмаков. — Бестолочь! Ты газеты читаешь ай нет? Мы же торгуем со всеми странами!..

— Да это когда было-то! Когда! Подумай!

Круглов нарочно подпустил и русскую водку, и щурьбу, которую любил до страсти. Мужикам многое было непонятно. Никодим схватил Башмакова за рукав, их уговаривали расстаться, в конце концов усадили по разным концам скамьи. Между тем Тимофей смаковал, додумывал. Выдумщик, он знал, что скорее не быть, и терпеливо ждал, когда мужики утихнут, “перегорят”.

— Водку в этих странах не пьют, — заключил Никодим. — Там жарыща — страшное дело! С похмелья морда треснет. Голова треснет, как арбуз.

— И я про то же! — согласился Ванька, отирая с покрасневшегося ли-

ца пот. — Дураку ясно; там сухое жрут, кислятину эту. Я раз искал-искал водку с полочки, и туда и сюда, и у Нюрки клянчил — нету, хоть ложись и помирай. Нюрка говорит — жри сухое, я и начал лакать прямо из горлышка; вода водой. С полведра выпил, ни в одном глазу. Пришел домой, баба рада-радешенька: с полочки, а трезвый. А меня так и мутит, так и крутит с кислятины, кишка на кишку войной пошла.

— Да будет вам, архаровцы, — урезонивал Башлыков, мужик степенный, не курящий, не пьющий. — Далась вам эта водка. Дайте досказать человеку. Вали, Тимоха, толкуй. Чем дело-то кончилось? Не сипи, Никодимка, слушай! Сядь, сядь! Ну чего ты окрысился?

— Правда, чего ты, Никодим, взбеленился-то? Пришел слушать — сиди, — мужики свалили все на Никодима и угомонились-таки.

— Сидит знахарь за столом, жует так, что за ушами трещить и в брюхе пишшить, — продолжал Тимофей байку. — И так нагрузился, напоролся, рассолодел, что чуть не уснул за столом. Растолкали его. Поднял он головушку буйную, глянул прынцу в лицо и говорит со смелостью пьяного: “Пойду я домой! Погудели хорошо, пора и честь знать. Меня дома жинка ждет. Она у меня строгая, сгоряча может сковородником зашибить, очень даже просто”. — “Куда? А свадьба? А наш уговор? Завтра же оженю тебя на дочке! В стыд-позор не вводи меня своим отказом”. — Это султан-хан-то Ивану толкует. “Не хочу я на ней жениться, не глянулась она мне. Моя Марютка лучше...” Как услышал те слова султан-хан, озлился, ажник скосоротился и с лица пропал: “Моя дочка первая красавица! Ее богатый человек сватал. Ты что, дурак?!” — “Никакая она не красавица, — это знахарь с пьяных глаз отвечает. — У ей ни рожи, ни кожи, ни сзади, не спереди — словно доска, подержаться не за что! И лицом черна, чернее сажи, аж синя малость...” Султан-хана затрясло со злобы: “Я тебя, су-укина сына, в тюрьме сгною! Эй, стража, связать лекаря, бросить в яму, пусть там проспится. Вон отсюда, пьяная харя!” Иван очухался, почувал беду; по коридору бежала свита. Он, не раздумывая, шмырк в окно да и был таков, Митькой, как говорят, звали...

— Неужто убежал?

— Ушел?

— За милую душу ушел! — ответил Тимофей кротко. Подошел к окну — было темным-темно.

— Вишь вот, молодец этот знахарь, — говорил Никодим. — Пьян-пьян, а усек, что дело керосином пахнет.

— Что же у ей в горле-то было? — спросил Тихон, высокий, горбоносый, с большим кадыком, сидевший до этого молча и прямо.

— Что было-то? А Бог ее знает... Лихоманка какая-то, а может, и рак.

— А кто слушает, тот дурак, — вставил Соколов.

— Да ведь это все неправда? А? Враки? Ну, Тимоха, горазд же ты на байки, ей-ей, горазд!

— Сказка ложь, и я то ж. — Круглов улыбнулся мило и виновато.

В доме сделалось еще веселей, теплей и уютней. Тимофей все подкидывал березовые поленца в огонь. Сидел он на корточках влоборота к печи, словно грелся не от нее, а от людского общества, так любимого им. Перевалило за полночь, кое-кто позевывал, но странное дело: ни один даже и не заикнулся о глубокой ночи, о том, что завтра с рассветом на работы.

Пересудам не было конца-краю. И, как это всегда бывает в теплой мужской компании, не упустили из виду и женщин. Никодим, вспоминая гарем, допекал Тимофея вопросами... Женька Комов заинтересовался болезнью принцессы.

— А что, всяко бывает, — говорил он. — Я одна так-то ходил-ходил по докторам с шишкой на носу. Посмотрят, пощупают, — пройдет, — говорят. Это, мол, жировик. Прописали примочки — и все. Я им: мне срам с шишкой на носу, как у алжирского бая. Пришел домой, ногтями выдавил, водкой прижег — как рукой сняло. Так-то, верно, и знахарь этот: он ей, прынцессе-то, горловик размял, она с испугу-то гаркнула, у ей все гноем и вышло. Так, Тимоха?

— Так, так... А то как же!

— А я раз в райцентр наладился гусей продавать, — рассказывал Соколов. — Села ко мне в телегу девка молодая, горделивая, городская, как видно. Штаны кофейного цвета, брови наведены черным, знаете, с изломом. То да се, шире-дале, я гляжу на ее одежды, смеюсь. Она мне: “Чего зубы скалишь?” — “Больно уж, отвечаю, штаны широки... Я в морях такие нашивал...”

— Погодите, братцы, — умолял Комков, — дайте еще послушать! Тимох, а Тимох, расскажи на сон грядущий какую-нито быль али событие. А то верится и не верится... Расскажи, а то моя баба придет, по шее накостыля-ет. Я ведь украдкой к тебе...

— Что ж, быль так быль. Да ведь опять не поверите, черти полосатые.

— Поверим!

— Сказывай.

— Давай!

— Давным-давно это было. В нашей деревне жил-был поп Онуфрий. Жаден до крайности. А братья Гришановы — одного звали Валетом, а другого Победимом — такие были прожженные сукины дети, что все их боялись. Они так и заявляли о себе: “Мы, Валет и Победим, усах людей поедим!” На испуг брали, на пушку — таковские ухорезы. Бывало, работники в отхожий промысел наладятся, топоры под ремень — и айда по чужим местам деньгу заколачивать. Валет и Победим — тоже для видимости берутся за топоры. Пошущукаются промеж себя и пойдут шаркать по церквям, по амбарам да клетям. В избу чужую задуться — это для них плевое дело, самый что ни на есть для них вкус... Рожновские, конечно, догадывались, что Гришановы промышляют не плотницкими делами, а помалкивали, боялись. Пахом раз видел их обоих в лесу, с топориками, с базара кого-то поджидали. “Иду, — Пахом рассказывал, — бреду лесом, а они под кустом устроились коеушку распивать. Здорово, мол, Пахом! А сами топориками поигрывают, по сторонам поглядывают. Поскорее, говорят, проходи, мешаешь нам дерево выбрать”. А Пахом гол как сокол, что с него взять. Они его и не тронули.

Деньга у Гришановых водилась несметная, черная, не трудовая. Перепьются, бывало, и промеж себя драку затеют для потехи. Как начнут дубасить друг дружку, мужики кинутся разминать, а Гришановы только того и ждут; оба кинутся на чужаков, смертным боем их бьют, да все с выкриками: “Бей своих, чтоб чужие боялись!” Прощельги были ужасные, рожновским от них тошно было.

И вот как-то пришли братья с промысла при деньгах, напоили мужиков, а те и рады-радешеньки на дармовщинку... Ну, то да се, разбалакались, разговорились и вспомнили про попа Онуфрия. Кто-то из мужиков возьми да и сболтни, что у попа золотишко в подполе зарыто. Валет подмигнул Победиму, Победим Валету, и говорят друг другу по фене, чтобы другие не поняли:

— Фи-па, фи-ше, фи-ба, фи-ршим?

Что значит: пошебаршим это дело, обстреляем, брат дорогой?

Смикитили. Уши наострили, подливают мужикам, слушают. Посидели, покурили и пошли. По дороге толкуют: “Надо пощекотать духовного отца. Чем на чужой стороне куш ловить, лучше тут все хорошо устроить”. Разговаривая так на тарбарском языке, приготовили они вагу, лопату, все чинчином, и ночи дождалось. А дело было перед Пасхой, тьма — хоть глаза коли. Подошли они к поповскому дому, зырк, зырк — кругом ни души. Подвели вагу под нижний венец, навалились, домкратик подставили под сруб, приподняли угол. Валет и говорит брату: “Лезь и копай в правой стороне, под печкой”. Победим снял с себя поддевку и шмыг в подпол. А Валет наблюдает, караулит за углом...

— На стреме! На шухере!.. Это клоквенники, Тимоха, — те, что духовных отцов грабят или церковь. Среди воров это самое последнее дело. Вот если бы их взяли и посадили, им там свои спасибо не сказали бы, нет, — перебил Тимофея Никодим. На него зашикали: тише, мол, не встречай.

— Караулит-то караулит, а в потемках и не заметил, что гнилое бревно вдавилось в домкрат, угол осел, и от лаза только щелочка осталась. Видит Валет свет из подпола, только хотел глянуть на братца, нагнулся и обомлел: как вылезет теперь Победим? А силенкой оба были жидки, но бесовски хитры и ловки. Начал было Валет работать вагой, домкратом... Куда там! И плюнул, и затрясся от злости: “Мать-перемать!” Что теперь делать? Вот-вот проснется поп, или люди пойдут в церковь и враз накроют. Победим так увлекся, что не заметил закрытого лаза, копает и копает. “Победим, — шепчет ему Валет, — слухай сюда! Рвем когти! Ободняться стало, влишнем!” — “Не трусь, держи харю по ветру, — тот-то ему отвечает из подпола. — Я прокопаю дыру лопатой, как-нибудь выйду”. — “Тебя увидят! Вон бабы гремят ведрами у колодца, голоса слышу...” — “Ну иди, гад такой, иди... Испугался, в штаны напустил. Ступай домой, я один справлюсь”.

Свеча горела слабо, ветер задувал пламя. Победим то и дело зажигал свечу, принимался копать во всех углах. “Обманули мужики, — подумалось ему, — или я копаю не там? Да и откуда им знать? Мужики ввали, а мы уши развесили, дураки...” Сел Победим на кадку с квасом, затужил, загоревал. “Как выбраться из подпола? — думает он, покуривает. — Видно, попал я в ловушку, придется ответ держать”. Думал-думал и придумал. Попил из бочки кваску, опрокинул наземь; сам разделся донага и давай в грязной жиже валяться. Отвозился — мать родная не узнает. “Ну, теперь-то прорвусь, — так шепчет себе. — Главное выбраться, а огородами проскочить — минутное дело”. Постучал Победим лопатой из подпола, слышит: “Свят, свят, свят”, — отец Онуфрий молится. “Мать, а мать, — будит поп попадью. — Мать, открой подпол, никак кто-то стучится”. — “Бог с тобою, батюшка! — взмолилась попадьа. — Послышалось тебе, померещилось. Крестись пуше, это нечистая сила тебя смущает”. — “Явственно слышу, мать. Ты побойчее меня, отвори”. Попадья в исподнем подошла, крикнула: “Кто-то там? Чего надо?” — “Открывай!” — заорал благим матом Победим. Попадья так и села от страха. Поп зажмурился, отворил лаз трясущейся рукой. Победим как прыгнет оттуда, как гаркнет во всю глотку: “А иде здесь дорога на Тамбов?” Поп повалился, онемел, машет руками на дверь. Победим шмыг мимо, и поминай как звали.

— Убежал?

— Утек!

Я покосился на часы-ходики. Было уже четверть третьего.

— А когда бежал он огородами, баб напугал так, что они и теперь рассказывают, как видели черта на задворках.

Мужики не спорили, не шумели. Они устали, накурились до красноты лиц; клонило в сон. Только неугомонный Ванька спросил из любопытства:

— Тимох, а Тимох? Когда это было, про попа-то?

— Когда было-то? А было это, мил человек, при царе Горохе. Было да сплыло и не воротится. Ну, однако, будя буровить-то, спать пора. Ободняться стало.

И, я заметил, хоть и поторопил Круглов гостей, но мог рассказывать еще и еще, испытывая от своих рассказов видимое удовольствие. Мужики одевались, борясь с телогрейками, куртками, прощались с Тимофеем. Никодим подтягивал голенища крепких, сбитых кирзовых сапог; поднимаясь на коротких кривых ногах, позевывал и потягивался. Закуривая на дорожку и угощая Тимофея папирской, спросил:

— Что же, не было у попа монет золотых?

— А шут его знает... Может, было, а может, и не было. Чужая душа — потемки, а своя еще темней!

— Темней? — переспросил Никодим.

— Те-емней!

— Покойной ночи, Тимофей Лукич, — прощались мужики.

— Спасибо, брат, уважил!

Время-то как пролетело, мигом! Четвертый уж час!

Я пожал руку Тимофея, широкую и крепкую. И что-то шевельнулось под сердцем, подумалось: “Тяжко живется ему, вот и выдумывает, заывает

к себе мужиков, чтобы не быть одному... А может быть, талант рассказчика погибает в нем?" Круглов смотрел на меня, улыбался протестки и, торопливо затягиваясь, говорил:

— Выспишься, приходи, мимо не проходи. Что сказки! Я тебе о житебыть расскажу такое, что куда там и выдумке. Так придешь, что ли? Ждать буду!

В глубоком раздумье возвращался я проулком. День мешался с ночью, петухи отпевали тьму. Вот пропел один, потом еще и еще. И вот уже все Рожново огласилось сильным петушиным хоралом. Звезды блестели высоко и ясно, а горизонт уже бледнел, наливался палевым светом зари.

В окнах дома Тимофея Круглова заалело.